

М. Лазерсонъ.

ФИЛОСОФІЯ
И
ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ
ВЪ
„ВОЙНЪ и МИРЪ“

Л. Толстого.

ОТТИСКЪ ИЗЪ ЖУРНАЛА

„ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОВѢДѢНИЯ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія акц. общ. „Слово“. Ул. Жуковскаго, 21.
1909.

I.

Можетъ ли философія исторіи „Войны и Мира“ быть отнесена къ опредѣленной школѣ? Нѣтъ, никогда. Ибо это не есть законченная, сама себѣ довлѣющая историческая теорія или соціологическая доктрина, принадлежащая къ той или иной рубрикѣ исторіософскихъ направлений. Если Толстой одинимъ крыломъ своей устремляющейся вдалъ философской мысли соприкасается съ теологическими ученіями Лорана или Боссюэта, то другимъ крыломъ онъ задѣвается безгранично далекій отъ нихъ исторической материализмъ. Толстой въ исторіи—это мыслитель, съ которымъ мы можемъ въ томъ или иномъ соглашаться; но уже ближайшій взмахъ крыла его грозить оставить насъ позади, чтобы слѣдить за его дальнѣйшими пареніями глазами посторонняго зрителя. Вотъ-вотъ мы готовы помириться съ Толстымъ, но уже на слѣдующемъ перекресткѣ приходится съ нимъ воевать: проникновеніе въ эпопею Толстого—это смѣняющіеся война и миръ съ художникомъ-мыслителемъ. И все же, несмотря на то, что это твореніе то вызываетъ восторженное согласіе, то срываетъ проклятия (Шелгуновъ), „Война и Миръ“ все же остается цѣльнымъ, замкнутымъ въ самомъ себѣ, какъ солнце, „какъ атомъ эѳира“, произведеніемъ. Чѣмъ же едино это твореніе?

„Человѣкъ, въ связи съ общей жизнью человѣчества, представляется подчиненнымъ законамъ, опредѣляющимъ эту жизнь. Но тотъ же человѣкъ независимо отъ этой связи представляется свободнымъ. Какъ должна быть разсматриваема прошедшія жизнь

народовъ и человѣчества,—какъ произведеніе свободной или не-свободной дѣятельности людей? Вотъ вопросъ исторіи.“¹⁾

Этимъ вопросомъ мы поставлены Толстымъ въ самую, такъ сказать, гущу задачи. Человѣкъ и человѣчество, личная дѣятельность и безличный процессъ, теза и антитеза—гдѣ синтезъ? Такъ уже давно выявляется намъ историческая проблема. Такъ же ставится этотъ вопросъ и Толстымъ.

Прежде всего историческій процессъ: „Движеніе человѣчества... совершается непрерывно“, „нѣтъ и не можетъ быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекаетъ изъ другого“²⁾. „Какъ въ часахъ, результатъ сложнаго движенія безчисленныхъ различныхъ колесъ и блоковъ есть только медленное и уравнѣнное движеніе стрѣлки, указывающей время; такъ и результатомъ всѣхъ сложныхъ человѣческихъ движений...—всѣхъ страстей, желаній, раскаяній, порывовъ, гордости, страха, восторга... было только медленное передвиженіе всемирно-исторической стрѣлки на циферблатѣ исторіи человѣчества“³⁾. Вы видите передъ собой отвлеченный, механическій процессъ человѣческой исторіи, по роковому циферблату которой мы читаемъ наши судьбы. Это закономѣрный, пока неизвѣстно къмъ заведенный, на какихъ пружинахъ дѣйствующій механизмъ. „Скучиша неприличнѣйшая!“, какъ сказалъ бы чортъ у Достоевскаго. Въ этомъ математически-размѣренномъ коловоращеніи „допущеніе начала какого-нибудь явленія“, по мнѣнію Толстого, „олжно само по себѣ“. Сравненіе историческаго процесса съ математически-ростущими функциями заставило его забыть объ извѣстномъ математикамъ „перерывѣ непрерывности“: начало событий связывается съ бесконечностью прошлаго, поэтому его вообще нѣтъ. Ясно, что начало историческаго события хронометрически или даже календарно установить нельзя, но все же оно можетъ быть отнесено къ болѣе или менѣе опредѣленной эпохѣ, когда явленіе данного порядка проявляется сильнѣе всего. Выводить изъ непрерывности историческаго процесса отсутствіе начала историческаго события такъ же неправильно, какъ утверждать, что нельзя отличить зеленаго цвѣта отъ голубого только потому, что въ спектрѣ имѣется тысяча оттенковъ между этими двумя цвѣтами.

Но сравненіе съ математикой продолжается и дальше, когда мы переходимъ къ вопросу о причинахъ историческаго движенія. Толстой ставитъ вопросъ „какова причина историческаго движе-

1) „Война и Миръ“, т. IV, стр. 400. Цитирую по московск. изд.

2) Ibid., т. IV, стр. 327.

3) Ibid., т. I, стр. 375.

нія?“ и отвѣтаетъ, что этихъ причинъ „милліоны“, „милліарды милліардовъ“. Все одинаково причина: „только допустивъ безко- нечно-малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т.-е. однородная влеченія людей,—и достигнувъ искусства интег- рировать (брать суммы этихъ безконечно-малыхъ), мы можемъ надѣяться на постигновеніе законовъ исторіи“ ¹⁾). Но опять-таки сравненіе изъ математики не дѣлается доказательствомъ въ об- ласти исторіи. Въ самомъ дѣлѣ. Опредѣленный исторический про- цессъ—или событие—будучи раздѣленъ, разбить на безконечно- большое количество „однородныхъ“, равносильныхъ факторовъ, на „милліарды причинъ“, даетъ въ результатѣ отсутствіе всякаго представлениія объ историческомъ закономѣрномъ процессѣ. Почти по математической формулѣ $\frac{A}{\infty} = 0$. Да это, собственно, вытекаетъ изъ собственныхъ словъ Толстого „причины эти всѣ—милліарды причинъ—совпадали для того, чтобы произвести то, что было. И, слѣдовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только по- тому, что оно должно было совершиться“ ²⁾). Еще категоричнѣе Толстой высказываетъ это въ другомъ мѣстѣ: при-чинъ исторического события нѣтъ и не можетъ быть“ ³⁾). Это туникъ, отъ котораго пришелъ бы въ ужасъ любой историкъ, и надо быть такимъ честнымъ мыслителемъ, какъ Толстой, чтобы открыто признать это. „Я знаю только то, что я ничего не знаю“—это говорятъ только Сократы и Толстые. Но послѣдуемъ дальше за Толстымъ. Познать причины историческихъ событий нельзѧ, надо отказаться отъ этого, разумъ долженъ покорно сдаться и отступить: „чѣмъ болѣе мы стараемся разумно объ-яснить эти явленія въ исторіи, тѣмъ они становятся для насъ неразумнѣе, непонятнѣе“ ⁴⁾). Такамъ путемъ мы попадаемъ въ тупикъ фатализма: „фатализмъ въ исторіи неизбѣженъ для объ-ясненія неразумныхъ явленій (то-есть, тѣхъ, разумность которыхъ мы не понимаемъ)“ ³⁾). Но вѣдь всѣ явленія исторіи съ нашей „слишкомъ человѣческой“ точки зрењія неразумны, то-есть, не поддаются нашему пониманію, мало того, если бъ все было раз-умно въ исторіи, то ничего не произошло бы. Жалкій родъ людской попадаетъ въ какую-то невѣдомую ему стремнину, ко- торая влечетъ его неизвѣстно куда.. Разумъ въ отчаянії, онъ безпомощно мечется изъ стороны въ сторону, но механически-

¹⁾ „В. и М.“ Т. III стр. 328.

²⁾ В. и М. т. III. стр. 7.

³⁾ Ibid. т. IV стр. 84.

⁴⁾ Ibid. т. III стр. 8.

правильный и предвѣтно-установленный процессъ заставляетъ его кружиться безсильно, какъ щенку въ потокѣ.

Но тѣмъ, которые готовы отказаться отъ гордыни разума, брезжитъ маленький лучъ свѣта и темная бурная ночь обѣщаетъ разсѣяться. Великій поводырь говорить намъ, мятущимся слѣпцамъ: „допустимъ, что должны были люди Европы, подъ предводительствомъ Наполеона, зайти въ глубь Россіи и тамъ погибнуть, и вся противорѣчащая сама себѣ, безсмысленная, жестокая дѣятельность людей—участниковъ этой войны, становится для насъ понятною“¹⁾. Иногда, конечно, на вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событий, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ міровыхъ предопределѣнъ свыше²⁾. Этотъ отвѣтъ намъ все уясняетъ: „Провидѣніе заставляло всѣхъ этихъ людей... соѣдѣствовать исполненію одного огромнаго результата, о которому ни одинъ человѣкъ не имѣлъ ни малѣшаго чаянія“.

Къ чему мы пришли?—Къ безнадежному фатализму затерявшагося человѣка. Ясно, что приведеніе всей исторіи къ общему знаменателю „воли Провидѣнія“ есть соціологическое привидѣніе, но пусть оно настѣ не отпугнетъ.

Часовой механизмъ, заведенный Провидѣніемъ—вотъ каковой намъ пока вырисовывается исторія. Но каково же содѣраніе того исторического процесса, механизма которого такъ математически описалъ Толстой? Отвѣтъ содержится въ самой эпопеѣ. Здѣсь передъ нами проходитъ исторія начала XIX вѣка, но исключительно съ той стороны, которую специалисты называютъ „прагматической“,—исторія того времени, какъ она выразилась въ движеніяхъ съ запада на востокъ и съ востока на западъ. Правда, въ этомъ движеніи принимаютъ участіе и историческія лица, и повседневные люди, но во всемъ романѣ нѣтъ фона историческихъ будней, т.-е. той дѣйствительно непрерывной закулисной подоплеки, которую разные историки называютъ различно: то „органической“ частью, то соціально-экономическимъ базисомъ. Только здѣсь яснѣе всего обнаруживается та почти стихічная непрерывность, о которой выше говорилъ Толстой. Скажутъ, пожалуй, что смѣшно требовать, чтобы въ историческомъ романѣ давалось соціально-экономическое изслѣдованіе эпохи³⁾. Но какъ исторія

1) „В. и М.“ т. III стр. 124.

2) Ibid. т. III стр. 272.

3) У насъ волей-неволей появляется вопросъ, почему можно было въ „Войнѣ и Мирѣ“ давать, напр., подробную карту Бородинского поля битвы, почему можно приводить тексты диспозицій и не говорить объ экономическо-соціальной основе народной жизни.

иे можетъ писаться безъ художественного чутья, такъ одно только художественное чутье, да и то направленное только на pragmatическую сторону, не можетъ дать исторіи. Получается бесплотная середина, призракъ, безвоздушное пространство, въ которомъ всѣ и Наполеоны, и Александры, и обыкновенные сержанты падаютъ съ одинаковой быстротой. Именно падаютъ. Но судить по этому паденію объ одинаковомъ всѣмъ и Наполеона и любого капала, очевидно, нельзя.

Но несмотря на всю силу своего соціального индифферентизма, художественное чутье Толстого все же подсказываетъ ему, что люди дѣлаютъ—или, по крайней мѣрѣ, пытаются дѣлать—исторію, что они тяготѣютъ къ общественной дѣятельности и ко „всевозможнымъ преобразованіямъ“, которымъ самъ Толстой не придаетъ ни малѣшаго значенія. Далѣе онъ повсюду видитъ, что люди въ этой исторической дѣятельности всегда признаютъ силу единичной личности, за которой эти люди и идутъ въ минимумъ дѣланія исторіи. Культъ героеvъ для Толстого новая религія общественной дѣятельности. И поэтому онъ всей силой вооружается противъ „героеvъ“ и „геніевъ“, полагая, что если будутъ низринуты идолы—исчезнетъ и идолопоклонство. Стоитъ, по мнѣнію Толстого, признать бессиліе великаго человѣка, какъ маленькой человѣкъ перестанетъ „дѣлать исторію“, и какъ бы для того, чтобы показать всю необоснованность этого культа онъ говорить: „до тѣхъ поръ, пока пишутся исторіи отдѣльныхъ лицъ,—будь они Кесари, Александры или Лютеры и Вольтеры,—а не исторіи всѣхъ, безъ одного исключенія, всѣхъ людей, принимающихъ участіе въ событиї, нѣтъ никакой возможности описывать движение человѣчества“¹⁾). И далѣе: „всякій изъ насъ, ежели не больше, то никакъ не меньше человѣкъ, чѣмъ всякий Наполеонъ“²⁾). И наконецъ: „стоитъ только вникнуть въ сущность каждого исторического события, т.-е. въ дѣятельность всей массы людей, участвовавшихъ въ событиї, чтобы убѣдиться, что воля исторического героя не только не руководить дѣйствіями массъ, но сама постоянно руководима“³⁾).

Этимъ мы пришли къ одному изъ наиболѣе сильныхъ мѣстъ Толстого. Онъ съ негодованіемъ отвергаетъ историческій идеализмъ и субъективизмъ, рассматривая ихъ, какъ видоизмѣненія дрѣвнихъ теологическихъ взглядовъ на всесиліе Божества въ исторіи. Этимъ духомъ проникнуты для него „всѣ сочиненія новѣйшихъ истори-

¹⁾ „В. и М.“

²⁾ Ibid t. III, стр. 272.

³⁾ Ibid.

ковъ оть Гибона до Бокля“¹⁾. „Новая исторія—говорить Толстой—отвергла вѣрованія древнихъ, не поставивъ на мѣсто ихъ новаго воззрѣнія и логика положенія заставила историковъ, мимо отвергшихъ божественную власть царей и фатумъ древнихъ, прийти другимъ путемъ къ тому же самому; къ признанію того, что народы руководятся единоличными людьми, и что существуетъ извѣстная цѣль, къ которой движутся народы и человѣчество“²⁾. Ужъ не говоря о томъ, что эта точка зреѣнія совершенно отвергаетъ наивныя конструкціи Карлейля, видѣвшаго въ исторіи одну только „біографію великихъ людей“, она плодотворна уже потому, что на мѣсто отринутой силы „великихъ людей“ она ищетъ, въ чёмъ та истинная сила, которая движеть народами: и „если вмѣсто божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, въ чёмъ состоитъ эта новая сила, ибо именно въ этой-то силѣ и заключается весь интересъ исторіи“³⁾.

Отъ отрицанія мы переходимъ къ созиданію.

Толстой, обращаясь чаще всего къ pragматической сторонѣ исторіи, повсюду видить движение народовъ въ самыхъ различныхъ направленихъ. Разъ на-лицо движение, то должна имѣться и сила, приводящая въ движение; такъ, пожалуй, опять-таки механически, и ставится этотъ вопросъ Толстымъ: „Единственное понятіе, которое можетъ объяснить движение паровоза, есть понятіе силы—равной видимому движению. Единственное понятіе, посредствомъ котораго можетъ быть объяснено движение народовъ, есть понятіе силы—равной всему движению народовъ“⁴⁾.

И Толстой обращается къ исторіи за объясненіемъ происхожденія этой силы. Но такъ какъ онъ ищетъ отвѣта у субъективныхъ же историковъ, то и не получаетъ его. „Историки... понимаютъ эту силу, какъ властъ, присущую героямъ и владыкамъ“⁵⁾. Этотъ „отвѣтъ“, конечно, не удовлетворяетъ Толстого, послѣ этого можно только быть:

so klug als wie zuvor.

Въ такомъ случаѣ, что же такое та производящая историческую событія сила, которая называется властью?—„необходимо объяснить значение власти“²⁾. Для Толстого, какъ мыслителя, не признающаго наивной роли личности, источникъ власти не кроется ни въ физическихъ, ни тѣмъ менѣе, въ нравственныхъ свойствахъ лица, обладающаго этой властью. Стало быть, „ис-

¹⁾ Ibid. T. IV стр. 366.

²⁾ „В. и М“. T. IV, стр. 366.

³⁾ Ibid. T. IV, стр. 370.

⁴⁾ Ibid. T. IV. стр. 376.

⁵⁾ „Война и Миръ“ T. IV, стр. 370. Курсивъ мой М. Л.

точникъ этой власти долженъ находиться въ лица—въ тѣхъ—отношенияхъ къ массамъ, въ которыхъ находится лицо, обладающее властью¹⁾). Наука права какъ будто обѣщає Толстому размѣнять обезцѣненную ходячую формулу на чистое золото подлиннаго отвѣта. Она говоритъ: „Власть есть совокупность воль массъ, перенесенная выраженнымъ или молчаливымъ согласiemъ на избранныхъ массами правителемъ²⁾). Но и этотъ отвѣтъ не удовлетворяетъ Толстого; великий мыслитель здѣсь ясно выражаетъ то, что только впослѣдствіи открыто признала новѣйшая наука права: „теорія перенесенія воль массъ въ историческія лица есть только перифраза—только выражение другими словами словъ вопроса“³⁾). Толстой не можетъ успокоиться на той „definitio reg idem“, которая по свидѣтельству проф. Петражицкаго продолжаетъ царить въ науки права, тѣмъ болѣе не можетъ успокоиться на этомъ Толстой, что „опытъ говоритъ, что власть не есть слово, но дѣйствительно существующее явленіе“⁴⁾.

Почему же отвѣтъ такъ упорно не дается въ руки? Потому что Толстой здѣсь наткнулся на проблему, до сихъ поръ—по опредѣленнымъ причинамъ—не разрѣшенную обществовѣданіемъ. Понятіе о „власти“ которое такъ тревожитъ Толстого, есть то понятіе суверенитета экономического, юридического и всякаго иного, борьба вокругъ котораго и составляетъ основу исторіи человѣческаго общества. Недаромъ и Толстому при изслѣдованіи этого вопроса вырисовывалась „фигура конуса“, нижніе слои котораго принимаютъ непосредственное участіе въ историческомъ процесѣ, а верхніе, „приказывающіе принимаютъ наименьшее участіе въ самомъ событии“⁵⁾, въ то время, какъ „дѣятельность ихъ исключительно направлена на приказываніе“⁶⁾. Понятіе о власти—суверенитетъ рядомъ съ фантазмой всепримиряющаго и всеуспокаивающаго государства стали чуть ли не фетишемъ всѣхъ буржуазныхъ—да и буржуазныхъ ли только?—юристовъ и историковъ.

Обратившись въ свою вопросъ о значеніи власти къ „отношеніямъ массъ“, Толстой наткнулся на глухую стѣну, соруженную правомъ. Это объясняется намъ и то, что онъ не старался больше искать разрѣшеніе вопроса въ этихъ отношеніяхъ; бесплодность отвѣта права оттолкнула его отъ дальнѣйшихъ поисковъ въ этой области. Онъ не находить нужнымъ ис-

¹⁾ Ibid. T. IV, стр. 378.

²⁾ Ibid. T. IV, стр. 379.

³⁾ Тамъ же.

⁴⁾ Ibid. T. IV, стр. 386.

⁵⁾ Ibid. T. IV, стр. 387.

⁶⁾ „Война и Миръ“ T. IV стр 393.

кать причины власти и историческихъ движенийъ въ реальныхъ условіяхъ современности: „несомнѣнно, говоритъ Толстой, существуетъ связь между одновременно живущимъ и потому есть возможность найти въкоторую связь между умственной дѣятельностью людей и ихъ историческимъ движениемъ точно такъ же, какъ эту связь можно найти между движениемъ человѣчества и торговлей, ремеслами, садоводствомъ и чѣмъ хотите“ ¹⁾). Толстой преспокойно остался въ области безплотного конуса, математическая правильность которого все же не даетъ исторического отвѣта, если только не считать таковымъ новое, на этотъ разъ уже толстовское *definitio per idem*: „отношеніе лицъ приказывающихъ къ тѣмъ, которымъ они приказываютъ и составляетъ сущность понятія, называемаго властью“ ²⁾). Но Толстого мало смущаетъ этотъ порочный кругъ; человѣческое знаніе навсегда обречено на такіе результаты: „въ послѣднемъ анализѣ (анализѣ причинъ исторического движения), говоритъ Толстой, мы приходимъ къ кругу вѣчности. къ той крайней грани, къ которой во всякой области мышленія приходитъ умъ человѣческій, если не играетъ своимъ предметомъ“ ³⁾.

Впрочемъ, это отсутствіе исторической причинности, этотъ фатализмъ, къ которому мы благополучно возвратились, вовсе не смущаетъ Толстого и онъ не сталъ бы дальше разбираться въ этомъ, если бы... если бы законъ исторіи „не касался человѣка... но законъ исторіи относится до человѣка“ и вопросъ изъ научно-исторического превращается до извѣстной степени въ субъективный: „человѣкъ..., который есть предметъ исторіи, прямо говоритъ: „я свободенъ и потому не подлежу законамъ“ ⁴⁾.

Такимъ образомъ, у Толстого, какъ и у всѣхъ мыслителей, разсматривающихъ исторію, возникаетъ вопросъ о свободѣ и необходимости.

Свобода и необходимость мыслятся Толстымъ какъ двѣ абсолютныя противоположности, уживающіяся рядомъ въ человѣческомъ дѣйствіи: „чѣмъ болѣе въ какомъ бы то ни были дѣйствіи мы видимъ свободы, тѣмъ менѣе необходимости и всегда, чѣмъ болѣе необходимости, тѣмъ менѣе свободы“ ⁵⁾). Въ смыслѣ категоріи исторіи необходимость тождественна у Толстого съ обыденнымъ пониманіемъ ея: необходимость—это абсолютная связность, полная предопределеннность законами; свобода—ея противо-

¹⁾ „Война и Миръ“. Т. IV стр. 374

²⁾ Ibid. Т. IV стр. 392.

³⁾ Ibid. Т. IV стр. 396.

⁴⁾ Ibid. Т. IV стр. 397. Курсивъ мой.

⁵⁾ „Война и „Миръ“ Т. IV стр. 403.

положность. И действительно: „съ тѣхъ поръ—говорить Толстой—какъ первый человѣкъ сказалъ и доказалъ, что известныя географическая и политico-экономическая условія опредѣляютъ тотъ или другой образъ правленія, съ тѣхъ поръ уничтожились... тѣ основанія, на которыхъ строилась исторія“¹⁾.

Какъ примѣръ, Толстой приводитъ то положеніе, по которому „количество рожденій или преступлений подчиняется математическими законамъ“²⁾. Но вѣдь статистической законъ исторического процесса вовсе не означаетъ того, что каждый человѣкъ долженъ стремиться удовлетворить набору преступной повинности. Такой законъ вовсе не означаетъ того, что данное общество по законамъ исторіи обязано ежегодно поставлять столько-то преступниковъ. Рѣчь идетъ здѣсь лишь о томъ, что при опредѣленномъ общественномъ строѣ сознательные свободные поступки людей въ общественномъ масштабѣ превращаются независимо отъ нихъ въ соціальные ритмы, въ закономѣрности. Здѣсь область человѣческой свободы неизмѣнно и незамѣтно переходитъ въ общественную необходимость.

Обыденное пониманіе свободы, какъ абсолютного безудержа, а необходимости,—какъ связности никогда не дастъ намъ возможности уяснить себѣ исторический процессъ. Такой взглядъ на свободу убиваетъ всякую возможность исторического сотрудничества человѣчества. Если всякий индивидъ такъ же свободенъ—въ смыслѣ безудержа—какъ я, тогда мое дѣйствіе можетъ столкнуться съ непредвидѣннымъ противодѣйствіемъ моего ближняго, которому въ каждую минуту можетъ вскочить въ голову любая шальная идея, которую онъ, какъ абсолютно-свободный, и бросится исполнять. Ни знать, ни тѣмъ менѣе предвидѣть въ этой области что-нибудь абсолютно невозможно: „знатъ (же) то,—говорить Толстой,—что можетъ быть и что не можетъ быть исполнено невозможно не только для наполеоновскаго похода на Россію, где принимаются участіе миллионы, но и для самаго и еслонаго событія; ибо для исполненія того и другого въсегда могутъ встремиться миллионы препятствій“³⁾ Контовскій идеаль исторіи — „savoir pour prevoir“ — превращается у Толстого въ миллионъ терзаній отъ тьмы непредвидимыхъ шальныхъ препятствій.

Моя личная свобода при наличности такой же свободы у другихъ членовъ общества превращается, такимъ образомъ, въ пу-

¹⁾ Ibid. T. IV стр. 417.

²⁾ Ibid. I, IV, стр. 417.

³⁾ „Война и Миръ“ I.

стой звукъ. Ясно, что обыденная свобода-безудержъ приводить къ полному воздержаню, къ недѣланію. А когда же свобода можетъ превратиться въ свободную дѣятельность? „Моя свобода—говоритъ Бельтовъ—не была бы пустымъ словомъ только въ томъ случаѣ, если бы ея сознаніе могло сопровождаться пониманіемъ причинъ, вызывающихъ свободные поступки моихъ близкихъ, т. е. если бы я могъ разсматривать ихъ со стороны ихъ необходимости“¹⁾. Итакъ, „свобода заключается не въ мнимой независимости отъ естественныхъ законовъ, а въ познаніи этихъ законовъ и въ возможности благодаря этому планомърно примѣнять ихъ къ извѣстнымъ цѣлямъ“²⁾.

Тутъ какъ бы объективно-необходимый процессъ исторіи, проходя черезъ наше сознаніе, подвергается возможности нашего воздействиія, а тѣмъ самымъ получаетъ характеръ свободы³⁾. Но отъ этого объективный ходъ вещей не теряетъ своей закономѣрности, онъ только получаетъ разную характеристику въ зависимости отъ той точки зрѣнія, съ которой мы къ нему подойдемъ. Подобно тому, какъ эмпиріокритицизмъ не разсматриваетъ физическое и психическое какъ двѣ противоположныя дуалистически-разъединенные области, а какъ различно выступающія передъ вами въ зависимости отъ двухъ исходныхъ точекъ изслѣдованія,— такъ и исторический процессъ, принципіально единый, можетъ выступать двояко: передъ личной практической дѣятельностью—какъ свободный, а передъ научнымъ изслѣдованіемъ—какъ необходиный.

Что этотъ монистический взглядъ на исторический процессъ дается не легко, свидѣтельствуетъ художникъ Толстой не меньше, чѣмъ экономистъ Каутскій. Намъ кажется, что у обоихъ авторовъ можетъ быть отмѣченъ дуализмъ, и мы будемъ ихъ разсматривать параллельно лишь потому, что какъ у одного, такъ и у другого исторический дуализмъ принялъ очень схожія формы. Поэтому отрѣшился на нѣкоторое время отъ странного сопоставленія этихъ двухъ именъ, qui hurlent d'etre accouplés ensemble.

Говоря выше о пониманіи Толстымъ свободы, какъ абсолютнаго безудержа, мы его назвали обыденнымъ. Но то же понима-

¹⁾ „Къ развитію монистического взгляда на исторію“ стр. 92. Изд. III. Спб. 1906.

²⁾ F. Engels. «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» Verlag Dietz. Seite 113.

³⁾ Тутъ содѣйствие историческому процессу невольно вырастаетъ въ воздействиіе, ибо противодѣйствіе, по существу невозможное, игнорируется нашимъ сознаніемъ. Возможность содѣйствія превращается для насъ въ фантазму воздействиія, процессъ исторіи сводится къ „взаимодѣйствію личности и надорганической среды“.

ніє являється і філософскимъ, гранича съ определеніемъ свободы метафизиками. Для Толстого большая или меньшая мѣра свободы опредѣляется степенью зависимости отъ трехъ категорій: пространства, времени и причинности. „Всѣ безъ исключенія случаи — говорить Толстой, — въ которыхъ увеличивается и уменьшается наше представлениe о свободѣ и о необходимости, имѣютъ только три основанія:

- 1) отношеніе человѣка, совершившаго поступокъ, къ виѣшнему миру (пространство М. Л.);
- 2) ко времени, и
- 3) къ причинамъ, произведшимъ поступокъ¹⁾ (причинность М. Л.).

То дѣйствіе, которое имѣеть наименьшую связь съ этими тремя „основаніями“ будетъ наиболѣе свободно. Приближается къ этому пониманію свободы и Кантъ, считая ее способностью самому начать причинный рядъ²⁾.

Самый свободный поступокъ будетъ, стало быть, тотъ, который намъ представляется виѣ причинности, времени и пространства. Но съ другой стороны, чѣмъ этотъ поступокъ больше подлежитъ одной изъ трехъ категорій, тѣмъ онъ болѣе связанъ, тѣмъ онъ скорѣѣ будетъ отнесенъ къ разряду необходимыхъ; и въ частности — что особенно интересно для исторіи — чѣмъ дальше переносимся мы назадъ въ разматриваніи событий тѣмъ менѣе они намъ представляются произвольными³⁾.

Поэтому и практический смыслъ и идеалистическое пониманіе разбиваеть исторический процессъ — жизнь человѣчества — на двѣ половины: прошедшее и будущее съ порогомъ настоящаго между ними. Поступокъ, будучи разматриваемъ въ отдаленіи далекаго прошлаго, наиболѣе связанъ; по мѣрѣ приближенія къ фокусу мировой воли, къ будущему, человѣческая дѣятельность рисуется намъ все болѣе свободной.

Къ этому пришелъ и Толстой, и Каутскій. Послѣдній въ „Этикѣ“ говоритъ: „Два мира, въ которыхъ живетъ человѣкъ суть: міръ прошедшаго и міръ будущаго. Настоящее обра-

¹⁾ „В. и М.“. Т. IV, стр. 404.

²⁾ Кантъ пишетъ: „Die Freiheit ist... eine rein transzendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes enthält; zweitens, deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann“. Или: „Im kosmologischen Sinne ist Freiheit Vermögen einen Zustand von selbst anzufangen“. Цитирую по Eisler'у: «Philosophische Begriffe». Кантъ рассматриваетъ человѣка въ качествѣ эмоционального существа зависимымъ въ своихъ дѣйствіяхъ, а какъ существо разумное — свободнымъ.

³⁾ „В. и М.“. Т. IV, стр. 406.

зуетъ границу между тѣмъ и другимъ“¹⁾. Разбивъ міръ на такія двѣ половины, слѣдуетъ при сужденіи о человѣческой дѣятельности разрѣшить такой вопросъ: „куда, т. е., къ какой половинѣ относится каждый изъ двухъ моментовъ дѣйствія — постановка цѣли и исполненіе?“ Съ первого взгляда, разсуждаегъ Каутскій, я себѣ ставлю цѣль въ будущемъ, но съ тѣхъ поръ, какъ цѣль уже стоить передо мною, она въ прошломъ. Изъ этого слѣдуетъ та въ высшей степени пустая и безнадежная истина, что „въ царствѣ свободы лежать только тѣ цѣли, которая еще не поставлены, о которыхъ мы совершенно ничего не знаемъ“. Но если не говорить о мистическомъ царствѣ непоставленныхъ цѣлей, остается вполнѣшая связанность; всякая поставленная цѣль,—а только такія и бывають — „заковывается временемъ“, какъ выражается Толстой.

Въ чёмъ же въ такомъ случаѣ свобода и существуетъ ли она? На это оба наши автора отвѣчаютъ различно. По Каутскому эта свобода существуетъ, но — увы! — она очень печальна: „даже, — говоритъ онъ, — если я поступаю по принужденію, то и тогда мнѣ остается на выборъ подчиниться ли этому принужденію или неѣть, и, въ видѣ крайняго средства избавиться отъ него, мнѣ остается добровольная смерть“²⁾. По Каутскому, стало быть, выходитъ, что мы должны сознательно питаться фантазмой свободы подъ дамокловымъ мечемъ „добровольной смерти“.

А Толстой гораздо прямѣе отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, когда говоритъ: „необходимо отказаться отъ несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость“.³⁾ Пониманіе Толстымъ свободы привело его къ полному отрицанію ея.

Со стороны архитектонической его система вполнѣ закончена: исторический процессъ состоить въ проявленіи суммы безконечно большого количества людскихъ произволовъ, регулируемыхъ и направляемыхъ десницею Провидѣнія, малѣйшее измененіе исторического хода для людей не достижимо, цѣль исторического процесса непостижима и всякое проникновеніе человѣческой мысли въ смыслъ исторіи обречено, поэтому на бесплодіе⁴⁾. Казалось нельзя было создать болѣе пессимистической философіи исторіи! Это былъ бы самый темный фаталисти-

¹⁾ „Этика и материалистическое пониманіе исторіи“. К. Каутскій. Изд. Кипера, 1906, стр. 31.

²⁾ См. стр. 32. „Этика и матер. поним. исторіи“. Издание Кипера. Одесса, 1906.

³⁾ „Война и Миръ“ Т. IV. Стр. 419.

⁴⁾ Ссылаемся здѣсь на особенно характерную въ этомъ отношеніи главу IV, части I, тома III „Воины и Мира“.

ческій тупикъ, куда только могла загнать насть наша измученная мысль, если бы Толстой не нашелъ изъ него выхода. И въ этомъ возвращеніи къ жизни обнаруживается весь Толстой, какимъ мы его знаемъ впослѣдствіи,—съ его величайшимъ соціальнымъ индифферентизмомъ, съ его покаянной теоріей личнаго совершенствованія.

Уже въ „Войнѣ и Мирѣ“ Толстой говоритъ намъ: „Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ,—жизнь личная, которая тѣмъ боѣле свободна, чѣмъ отвлеченные ея интересы, и жизнь стихійная, роевая, где человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписаныя ему законы. Человѣкъ сознательно живетъ для себя, но служить безсознательнымъ орудіемъ для достижения историческихъ общечеловѣческихъ цѣлей.¹⁾ Нужно сойти съ протореной столбовой дороги исторіи, по которой бредутъ безумные Наполеоны и гибнутъ тысячи людей, не оставляя по себѣ никакихъ слѣдовъ, и пойти по темнымъ тропамъ, усыпаннымъ шипами мученій болезніи совѣсти и приводящимъ къ кельѣ единствено сознательной личной жизни. „Жизнь,—говорить Толстой про эпоху отечетвенной войны:—настоящая жизнь людей со своими существенными интересами... шла, какъ и всегда независимо и вѣтъ политической близости и вражды съ Наполеономъ и вѣтъ всевозможныхъ преобразованій“. Вотъ съ этой-то точки зрѣнія „настоящей жизни“ Толстой и судитъ суетную жизнь людей, занятыхъ „поклоненіями о другихъ.“

Вся галлерея историческихъ лицъ и событий начала XIX вѣка подвергнута критикѣ Толстымъ съ двухъ точекъ зрѣнія: 1) теоретической,—т.-е. отрицанія роли личности въ исторіи во имя торжества Провиденія, 2) моральной,—т.-е. ничтожества великихъ людей, отдаленности ихъ отъ „настоящей жизни“, къ которой большинство изъ нихъ слѣпо. Въ первой задачѣ выступилъ передъ нами Толстой—мыслитель, во второй—сказывается, главнымъ образомъ, Толстой художникъ и моралистъ.

II.

„Въ отдаленіи грядущихъ поколѣній на меня будуть смотрѣть съ болѣе великой, болѣе свободной точки зрѣнія, мѣшашія детали исчезнутъ“²⁾, такъ писалъ императоръ Наполеонъ съ острова св. Елены.

Толстой не оправдалъ этой надежды Наполеона, для него,

¹⁾ „Война и Мирь“ Т. III стр. 9.

²⁾ „Napoleon I“ A. Ruest. Verlag Seemann, Leipzig, Seite 86.

„детали“ уничтожили все величие, *grandeur* Наполеона, надь которымъ онъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ такъ Ѳдко смѣется. Толстому, въ противоположность В. Гюго, не нуженъ былъ Наполеонъ III для того, чтобы говорить о „Наполеонѣ маленькому“.

Толстой не признаетъ Бонапарта великимъ человѣкомъ съ двухъ основныхъ точекъ зрѣнія—теоретической и моральной.

Для того, чтобы выяснить первую точку зрѣнія, намъ по необходимости придется пѣсколько остановиться на томъ, какъ Толстой конкретизируетъ свою философию исторіи въ области теоріи войны. Толстой не признаетъ военной науки, хотя бы уже потому, что она—какъ и исторія—ставитъ объектомъ своего изслѣдованія движенія человѣческихъ массъ. Руководить тысячами людей не въ силахъ одного человѣка, какъ въ исторіи вообще такъ и въ стратегіи въ частности, дисциплинировать войско можно только тогда и до тѣхъ поръ, пока еще онъ попало „въ огонь“: т.-е. до тѣхъ поръ, покуда дисциплина означаетъ только господство ритма въ жизни всѣхъ солдатъ, пока тысячи людей находятся въ состояніи „вооруженного безразличія“ и съ охотой подчиняются начальникамъ въ виду громаднаго удобства этой спокойной, усыпляющей размѣренной жизни¹⁾). Но войско, попавшее подъ огонь—это разгулявшаяся стихія, которую отводить въ то или иное русло безсмысленно.. Самое разумное не мѣшать битвѣ,—такъ и поступаютъ у Толстого наиболѣе выдающіеся по его мнѣнію, полководцы. „Князь Андрей—пишетъ Толстой про Шенграбенское дѣло:—тщательно прислушивался къ разговорамъ князя Багратіона съ начальниками и къ отдаваемымъ приказаніямъ, и къ удивленію замѣчалъ, что приказаній никакихъ отдаваемо не было, а что кн. Багратіонъ только старался дѣлать видъ, что все, что дѣжалось по необходимости, случайности и волѣ частныхъ начальниковъ, что все это дѣжалось хотя не по его приказанію, но согласно съ его намѣреніями“²⁾). И несмотря на такое мнимое руководство „присутствіе его (Багратіона. М. Л.) сдѣлало чрезвычайно много“.

Сражающееся войско—стихія, и, какъ стихія, проявленія его слѣпы; малѣйшая внѣшняя причина можетъ все измѣнить. Про Шенграбенъ мы читаемъ: „одинъ солдатъ въ испугѣ проговорилъ страшное на войнѣ и безсмысленное слово „отрѣзали!“ и слово вмѣстѣ съ чувствомъ страха сообщилось всей массѣ“³⁾). То же

1) Стоить только припомнить, какъ Николай Ростовъ стремился возвратиться къ военной жизни, въ которой бездѣлье (безынициативность) обязательно и даже освящено долгомъ.

2) „Война и Миръ“ Т. I стр. 264.

3) Ibid. T. I стр. 275.

и на Аустерлицкомъ полѣ: „наивно испуганный голосъ въ двухъ шагахъ отъ кн. Андрея закричалъ: „ну, братцы, шабашъ“. И какъ будто голосъ этотъ былъ команда. По этому голосу все бросилось бѣжать“¹⁾. Нападающіе герои въ одну минуту превращаются въ бѣгущихъ „мерзавцевъ“, которыхъ не останавливаешь даже присутствіе главнокомандующаго.—Здѣсь все рѣшаеть неизвѣстный страшный иксъ, „духъ войскъ“; стараться вносить поэтому, въ военное дѣло научную закономѣрность могутъ только такіе слѣповѣрющіе въ науку, какъ „нѣмцы“, такіе отъявленные теоретики, какъ Пфули.

Наполеонъ, завоевавшій себѣ славу полководца, „руководителя“ массъ, уже по этому одному не признается Толстымъ. На самомъ же дѣлѣ Наполеонъ только неразумное и беззмѣрно возгордившееся дитя исторического процесса; „Наполеонъ во все это время своей дѣятельности былъ подобенъ ребенку, который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаетъ, что онъ править“²⁾.

Въ Бородинскомъ сраженіи Наполеонъ бессиленъ, великаго полководца Толстой изображаетъ бессильной пѣшкой въ рукахъ безсознательного хода событий. И въ самомъ дѣлѣ, Наполеонъ отдаетъ приказанія, соображаясь съ докладами адъютантовъ, прискакивающихъ съ поля сраженія. Доклады эти неизбѣжно должны быть ложны, и потому что они отстаютъ отъ хода сраженія, и потому „что въ жару сраженія невозможно сказать, что происходитъ въ данную минуту“³⁾. „Соображаясь съ таковыми необходимо ложными донесеніями, Наполеонъ дѣлалъ свои распоряженія, которые или уже были исполнены прежде, чѣмъ онъ дѣлалъ ихъ, или же не могли быть и не были исполнены“.

Военный герой-иниціаторъ по Толстому невозможенъ, вся блестящая дѣятельность Наполеона, казавшаяся такой важной какъ ему самому, такъ и современникамъ, оказалась психологической аберраціей, обманомъ; все „происходило не по волѣ Наполеона, а шло независимо отъ него по волѣ сотенъ тысячъ людей, участвовавшихъ въ общемъ дѣлѣ. Наполеону казалось только что все происходило по его волѣ“⁴⁾.

Военный геній Наполеона, такимъ образомъ, совершенно не признается Толстымъ, для него это боевой генералъ, правда, съ „военнымъ опытомъ“, но еще съ большимъ самомнѣніемъ, не

1) Ibid. T. I стр. 407.

2) „Война и Миръ“ T. IV стр. 114.

3) Ibid. T. III стр. 295.

4) Ibid. T. III стр. 273. Курсивъ Толстого.

умѣющій считаться съ „духомъ войскъ“, рѣшающимъ факторомъ войскъ.

Исторія его знаетъ другимъ: военная исторія говоритъ о Наполеонѣ, какъ о полководцѣ, постепенно измѣнившемъ старую штыковую тактику временъ Фридриха Великаго на орудійную. Невѣренъ затѣмъ и упрекъ въ томъ, что Наполеонъ не понималъ духа войскъ. Одинъ историкъ говоритъ: „Всѣ эти побѣды не были бы достигнуты, лучшіе планы и проекты безслѣдно пропали бы, если бы Наполеонъ не могъ ихъ приводить въ исполненіе при помощи своихъ войскъ, надъ душой которыхъ онъ умѣлъ господствовать, расположение которыхъ онъ себѣ снискивалъ съ первого дня похода, и среди которыхъ, наконецъ, личность его пользовалась такой любовью, что онъ со своими войсками могъ предпринять рѣшительно все, что хотѣлъ“¹⁾. Если этотъ отзывъ нѣсколько преувеличиваетъ силу наполеонова вліянія, то во всякомъ случаѣ, даже на основаніи „Войны и Мира“ мы могли бы показать, что Толстой совершенно не правъ, думая, что Наполеонъ не понималъ духа войскъ. Наоборотъ, демагогъ въ мирѣ, сумѣвшій произвести переворотъ 18-аго брюмера, и тѣмъ обмануть всю Францію, онъ былъ не меньшимъ знатокомъ массъ и на полѣ битвы. Можно его считать человѣкомъ не чуткимъ, не понимавшимъ психологіи ближнихъ, но что онъ былъ прекраснымъ психологомъ массъ,—объ этомъ свидѣтельствуютъ его возванія къ войскамъ, въ которыхъ каждый рядовой солдатъ рисовался участникомъ величайшихъ историческихъ событий, въ которыхъ ложь и лесть переплетались съ обѣщаніями наградъ и добычи, въ которыхъ вся пропасть между полководцемъ и солдатомъ совершенно стиралась²⁾. Его знаменитые манифесты, прокламаціи, возванія это цѣлая литература—крикливая, оглушительная, какъ шумъ битвъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наркотическое средство, которымъ онъ опьянялъ свой войска, доводя ихъ честолюбіе до невѣроятныхъ размѣровъ. А заботы Наполеона о раненыхъ и ветеранахъ, его посѣщенія чумныхъ лазаретовъ, появленіе на опасныхъ мѣстахъ,—все это

¹⁾ A. Ruest „Napoleon I“ S. 51.

²⁾ Наполеонъ постоянно старался подчеркнуть единство свое съ арміей, у него сочетается сознаніе своего величія съ признаніемъ за „толпой права на собственную честь“. „Я буду держаться далеко отъ огня—говорить Наполеонъ въ своемъ приказѣ передъ аустерлицкимъ сраженіемъ—если вы съ вашей обычной храбростью внесете въ ряды непріятельскіе беспорядки и смутеніе, но если побѣда будетъ хоть одну минуту сомнительна, вы увидите въ шего императора, подвергающагося первымъ ударамъ непріятеля... , миръ, который въ заключу, будетъ достоинъ моего народа, въ съ и меня“. „Война и Миръ“ Т. I стр. 393. Курсивъ мой.

объяснялось не добротой душевной, а явно разсчитано было на эффектъ. И этотъ холодный расчетъ почти никогда не обманывалъ Бонапарта!

Не понять силы этой наполеоновской лжи, значитъ не понять „императора солдатъ и мужиковъ“.

И Наполеонъ такъ и остался непонятымъ Толстымъ: средства, которыми корсиканскій высокочка добивался успѣха, претили ему какъ нравственно-отвратительныи, и, сдѣлавъ логической скачекъ, Толстой сказалъ, что они и исторически—безплодны. Толстой возненавидѣлъ Наполеона въ той же мѣрѣ, въ какой онъ возлюбилъ каратаевскій духъ простоты и правды. А возненавидѣвъ, Толстой не сумѣлъ остаться на синѣхъ высотахъ художественной правды, его этический идеалъ заставилъ его исказить черты, выбитые исторіей, духъ простоты и правды—странно сказать!—заставилъ его клеветать на Наполеона. Если бъ мы повѣрили Толстому, то честолюбіе Наполеона оказалось бы мелочнымъ по убожеству: „онъ (Наполеонъ) человѣкъ, говорить авторъ устами Долгорукова—въ сѣромъ сюртукѣ, очень желавшій, чтобы я ему говорилъ „ваши величество“, но къ огорченію своему не получившій отъ меня никакого титула. Вотъ это какой человѣкъ, и болѣе ничего“.¹⁾ Смѣшно читать тѣ мѣста въ романѣ, гдѣ Наполеонъ будто бы добивается почестей съ стороны Долгорукова и лакея Лаврушки.²⁾ Неужели это тотъ же самый Наполеонъ, который не замѣчалъ какъ на его глазахъ съ криками воодушевленія тонули польскіе уланы, Наполеонъ повсюду сопровождаемый криками „Vive l'empereur!“, которые онъ очевидно переносилъ только потому, что нельзя было запретить имъ криками этими выражать свою любовь къ нему³⁾, и для котраго, наконецъ, „было не ново убѣжденіе въ томъ, что присутствіе его на всѣхъ концахъ мира... повергаетъ людей въ безуміе самозабвенія“?⁴⁾ Какой крикъ негодованія вырвался бы у Гейне или Лермонтова, которымъ Наполеонъ казался чуть ли не новымъ Прометеемъ, прикованнымъ къ скаламъ Св. Елены,—если бъ они услыхали, что „Наполеонъ—это ничтожнѣйшее орудіе исторіи, никогда и нигдѣ, даже въ изгнаніи, не выказавшій человѣческаго достоинства“⁵⁾.

Можно теоретически не признавать роли личности въ исторіи

¹⁾ „Война и Миръ“ Т. I стр. 377. Курсивъ мой.

²⁾ См. главу VП, II-ой г. Т. III „В. и М.“.

³⁾ Ibid. Т. III. стр. 13.

⁴⁾ Ibid. Т. III. стр. 15. Курсивъ мой.

⁵⁾ Ibid. Т. IV. стр. 227. Курсивъ мой.

въ томъ смыслѣ, въ какомъ о ней говорять субъективные историки, но нельзя ие согласиться съ тѣмъ, что при извѣстныхъ условіяхъ великой личности,—точнѣе, отдалной, ибо „величие“ понятіе относительное и скорѣе этическое, чѣмъ историческое—удается очень многое сдѣлать въ исторіи. Марксъ поэтому поводу писалъ: „необходимо объяснить, какъ могутъ націю въ 36 миллионовъ огорожить и отвести въ неволю три авантюриста“. Для него эта роль вопросъ факта, надо только объяснить, „какъ во Франціи классовая борьба породила такія у словія и отношения, которыя дали возможность личности заурядной сыграть роль героя въ соцр d'état“¹⁾.

Толстой почти отказывается углубиться въ исторію, чтобы на ея почвѣ доказать ничтожность Наполеона. А только вѣдь объ историческомъ величию здѣсь и идетъ рѣчь! Только одинъ разъ, и то вскользь, говорится въ „Войнѣ и Мирѣ“ о „демократическомъ элементѣ, который разносили полчища Наполеона“²⁾, а между тѣмъ, въ этомъ „элементѣ“ вся тайна успѣха Наполеона. Надо читать восторженныя страницы книги „Le Grand“ Гейне, чтобы видѣть, какое воодушевленіе вызывалъ первый Бонапартъ въ народахъ Германіи. Его имя одно время было синонимомъ торжества принциповъ революціи, паденія феодальныхъ путей и побѣдоноснаго шествія права, поэтому то такъ скоро, безъ сопротивленія, почти съ предупредительностью сдавались Наполеону одни города прирейнской Германіи за другими. Наполеонъ вызывалъ среди лучшихъ людей своего времени восторгъ, въ которомъ сливалось политическое увлеченіе Наполеономъ, какъ „великимъ бичемъ“, разбудившимъ народы къ новой жизни, съ преклоненіемъ передъ его сильной, почти титанической личностью. Гёте поэтому съ радостью смотрѣлъ на встрѣчу французскому господству въ Германіи, видя въ этомъ торжество свободомыслія, пораженіе ложнаго патріотизма и демонстрацію солидарности культурного міра. Увлеченіе Наполеономъ, общее всей передовой Европѣ, сказалось и на русской молодежи, находившейся подъ влияніемъ Запада. Оно сказывается и въ наивныхъ словахъ молодого Пьера, недавно пріѣхавшаго изъ за границы. „Наполеонъ великтъ—говорить онъ потому, что онъ подавилъ ея (революціи) злоупотребленія, удержавъ все хорошее—и равенство гражданъ, и свободу слова и печати“ и далѣе: „Теперь война противъ Наполеона. Ежели бъ это была война за свободу, я бы понялъ, я

¹⁾ См. „18-ое брюмера Луи Бонапарта“ стр. 8. Изд. „Молотъ“.

²⁾ „В. и М.“ Т. IV.

бы первый поступил на службу; но помогать Австріи и Англіи противъ величайшаго человѣка въ мірѣ—это пехорошо”¹⁾.

Но послѣдующая дѣятельность великаго корсиканца вызвала разочарованіе и въ Пьерѣ, и въ другихъ наивныхъ людяхъ. Наполеонъ впослѣдствіи превратился, по выраженію французовъ въ „хорошую шпагу“ и только. Дѣвнадцатый годъ, вокругъ котораго сосредоточивается вся эпоха—это время, когда слава Наполеона шла на убыль. Хорошая шпага забыла, что ея роль была скорѣе оборонительная: когда республика была разбита, а воцарившаяся директорія бессильна возстановить и внутренній порядокъ и вѣнчаній престижъ,—шпага эта была необходима²⁾). Но война имѣетъ свою логику и свою инерцію, „шпага“ стала рубить не разбирая и становилась Франціи въ тягость.

И Толстой совершенно правъ, когда говоритъ, что Наполеонъ не понялъ, что война 12-го года примѣтъ характеръ народно-оборонительной. Не говоря уже о всѣхъ другихъ причинахъ, политическихъ и экономическихъ, ослабившихъ власть Наполеона, война эта еще потому должна была быть имъ проиграна, что тотъ демократический элементъ, который Наполеонъ вносилъ въ западно-европейскія страны потерялъ значительную часть своей кредитоспособности и для русскаго народа уже никакого нравственаго вѣса имѣть не могъ. И поэтому позднѣйшія попытки Наполеона обратиться къ несчастнымъ, покинутымъ и ободраннымъ московскимъ жителямъ съ фальшиво-широковѣщательными „провозглашеніями“ напоминаютъ скорѣе пріемы шарлатана, чѣмъ воззванія освободителя. Русскій народъ возсталъ противъ Наполеона, нарушившаго самые кровные его интересы. Это чувствуется и въ славахъ кн. Андрея: „Французы разорили мой домъ, говорить онъ, и идутъ разорить Москву, оскорбили и оскорбляютъ меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моимъ понятіямъ“³⁾). Послѣ этого Пьеръ только и „понялъ весь смыслъ и все значеніе этой войны“⁴⁾.

Цѣль народа была одна: очистить свою землю отъ нашествія⁵⁾, а между тѣмъ, Наполеонъ забылъ о природѣ и народѣ Россіи: онъ полагалъ, что природа дана ему для покоренія, а

¹⁾ „Война и Миръ“ Т. I, стр. 37,

²⁾ „Первая французская революція должна была развить далѣе то, что начало было абсолютной монархіей: развить централізацію, но вмѣстѣ съ тѣмъ развить также размѣры, атрибуты и аксессуары правительственной власти. Наполеонъ и закончили развитие этого государственного механизма“ стр. 113 „18-ое брюм“.

³⁾ „В. и М.“, Т. III. 258. Курсивъ мой.

⁴⁾ Тамъ же.

⁵⁾ Ibid. T. IV стр. 211.

народъ—для покорности. Онъ, какъ это ни странно, зналъ только то народное возбужденіе, которое проявлялось въ его пользу, и забывалъ, что то же народное возбужденіе, направленное противъ него можетъ стать для него гибельнымъ, и что если съ русской арміей ему было бы не такъ трудно справиться, то съ мужиками-партизанами, выступающими изъ-за каждого придорожнаго куста, изъ-за каждого поворота дороги, борьба во сто разъ труднѣе. То же было съ испанскими гверильясами (въ 1809 г.), то же должно было случиться и въ Россіи.

Герой былъ побѣжденъ народомъ, ибо забылъ о толпѣ. Но значить ли это, что Наполеонъ не сыгралъ крупной роли въ исторіи? Наполеонъ сохранилъ Францію, какъ государство, Наполеонъ далъ Европѣ гражданскій правопорядокъ. Конечно, Наполеонъ не могъ бы проявить себя безъ тѣхъ обстоятельствъ, экономическихъ и соціальныхъ, которыхъ его выдвинули¹⁾.

Толстой со всѣмъ этимъ не считается, для него генераль Бонапарте человѣкъ, игравшій нѣкоторую роль въ исторіи, и тѣмъ нарушившій его теорію; для него Наполеонъ лживый полководецъ, безконечно далеко ушедшій отъ его этическаго идеала—и приговоръ произнесенъ: „нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды“²⁾.

„Распорядитель, окончивъ драму и раздѣль актера, показалъ его намъ.

— Смотрите, чому вы вѣрили! Вотъ онъ! Видите ли вы теперь, что не онъ, а я двигалъ васъ?“³⁾

Историческая личность этически не признана и религіозно отринута.

Какъ для развѣнчанія Наполеона Толстой противоставилъ его синѣющей безконечности неба, идеалу „простоты, добра и правды“, и всесильной природѣ; такъ и Сперанскій, другой высокочка и герой русской исторіи, былъ поставленъ Толстымъ рядомъ съ пытливымъ, ищущимъ правды и смысла жизни кн. Андреемъ и тоже оказался маленьkimъ человѣкомъ. Толстого здѣсь меньше всего интересуетъ „государственный человѣкъ“ Сперанскій; этотъ послѣдній принадлежитъ исторіи. Для Толстого-художника Сперанскій—или скорѣе увлечение Сперанскимъ—только психологический этапъ развитія кн. Андрея съ его культомъ геніальныхъ

1) Характеръ личности является „факторомъ“ общественного развитія лишь тамъ, лишь тогда и лишь цостольку, гдѣ, когда и поскольку ей позволяютъ это общественные отношенія. „Къ вопр. о роли личн. въ исторіи“ Бельтовъ, „За 20 лѣтъ“ стр. 467.

2) „В. и М.“ Т. IV стр. 205.

3) Ibid. T. IV стр. 303.

людей: „ежели бы Сперанскій былъ изъ того же общества, изъ котораго былъ кн. Андрей, того же воспитанія..., то Болконскій скоро бы нашелъ его слабыя, человѣческія, не геройскія стороны, но теперь этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ ему уваженія, что онъ не вполнѣ понималъ его“¹⁾). Князь Андрей-атеистъ, разочаровавшись въ своихъ прежнихъ исканіяхъ уже передъ Пьеромъ сталъ развивать философію „жизни для себя“ и только. Но эта „жизнь для себя“ требовала извѣстнаго обоснованія, котораго Болконскій не могъ найти ни въ религіозности княжны Маріи, ни въ массонствѣ Пьера, поэтому онъ ищетъ его пока въ рационализмѣ. А Сперанскій вселяется въ кн. Андрѣй, у котораго категорія разума все еще борется съ совѣстью, какое-то особое уваженіе: „Главная черта ума Сперанскаго, поразившая кн. Андрея, была несомнѣнная вѣра въ силу и законность ума, видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти въ голову та обыкновенная для кн. Андрея мысль, что не вздоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю?“²⁾ И вотъ подъ вліяніемъ Сперанскаго кн. Андрей — „чего онъ никакъ не ожидалъ“ — сталъ работать надъ Code Napoleon.

Но законодательная дѣятельность не можетъ дать отвѣта на мучившіе Болконскаго вопросы совѣсти, смысла жизни: „развѣ все это можетъ сдѣлать меня счастливѣе и лучше?“ Отвѣтъ заключается уже въ самомъ вопросѣ: „и это простое разсужденіе вдругъ уничтожило для князя Андрея весь прежній интересъ совершаемыхъ преобразованій“³⁾). Отсюда рождается разочарованіе и въ одномъ изъ главныхъ инициаторовъ этихъ преобразованій, и во всемъ обществѣ, окружавшемъ его также безсильномъ разрѣшить его вопросы. Князю Андрею „стало смѣшно, какъ онъ могъ ждать чего-нибудь отъ Сперанскаго и отъ всей своей дѣятельности, связанной съ нимъ“. И поэтому уходитъ изъ области „дѣланія исторіи“.

Но едва ли не болѣе всего знаменательны для кн. Андрея, — и для его творца, Толстого, — тѣ мысли — итоги, которые онъ подводитъ всей государственной дѣятельности: „онъ вспомнилъ о своей законодательной работѣ, о томъ, какъ онъ озабоченно переводилъ на русскій языкъ статьи римскаго и французскаго свода и ему стало совсѣмъ за себя“. Тутъ вы ничего не слышите о работахъ Сперанскаго, въ дѣятельности имѣвшихъ большое

²⁾ „Война и Миръ“ Т. II стр. 205.

²⁾ Ibid. T. II стр. 207.

³⁾ Ibid. T. II стр. 252.

значение въ исторії Россіи. Вы здѣсь ничего не слышите объ извѣстномъ исторіи и желаній Сперанскаго „пріуготовить Россію къ восприятію истинныхъ (т. е. конституціонныхъ М. Л.) формъ монархического правленія“ и тѣмъ способствовать развитію правосознанія русскаго народа. Можно спорить, и едва ли съ успѣхомъ, противъ возможности отдѣльной личности развивать право, сообразно съ развитіемъ общественного строя¹⁾). Но Толстой не только не признаетъ личности какъ законодателя, но и самое законодательство считаетъ праздной работой.

Исторический процессъ преобразованія Россіи сверху и историческая личность Сперанскаго преломились черезъ случайную, психологически-каризмную призму недовольного героя „Войны и Мира“ и получилась изъ общественной дѣятельности безсмыслица: „князь Андрей живо представилъ себѣ Богучарово, свои занятія въ деревнѣ... вспомнилъ мужиковъ, Драна-старосту, и, приложивъ къ нимъ права лицъ, которыхъ онъ распредѣлялъ по параграфамъ, ему стало удивительно, какъ онъ могъ такъ долго заниматься такой праздной работой“²⁾.

Рядомъ съ двумя фигурами Наполеона и Сперанскаго, Толстой выводить еще одинъ типъ исторического дѣятеля, московскаго ген.-губернатора Растопчина.

Растопчинъ дѣйствительно представляетъ собою гадкое зрѣлище глупца, волею судебъ очутившагося въ серьезный моментъ во главѣ громаднаго города и не имѣвшаго „ни малѣйшаго понятія о томъ народѣ, которымъ онъ думалъ управлять“. Вся его дѣятельность говоритъ о сумбурной безнomoщности: „этотъ человѣкъ не понималъ значенія совершающагося события, а хотѣлъ что-то сдѣлать самъ, удивить кого-то, что-то совершить патріотически-геройское, и, какъ мальчикъ, рѣзвился надъ величавымъ и неизбѣжнымъ событиемъ оставленія и сожженія Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать теченіе громаднаго, уносившаго его вмѣстѣ съ собою, народнаго потока“³⁾). Вся его дѣятельность неописуемо пошла и глупа; вся его афишки съ увѣреніями, что французы „отъ капусты раздуются, отъ каши перелопаются, отъ щей задохнутся, что они всѣ

1) Профессоръ Л. Петражицкій въ своей „Теоріи права“ прямо говоритъ, что „одно лицо или извѣстная группа можетъ по своему усмотрѣнію вызывать въ психикѣ обширныхъ народныхъ массъ такое право на будущее время, какое ему или ей представляется съ какой-либо точки зрѣнія желательнымъ, а равно устраниТЬ, отмѣнить существующее право и производить разныя другія измѣненія въ чуждой психикѣ и жизни“.

2) „В. и М.“ Т. II стр. 256.

3) Ibid. Т. III стр. 344.

карлики, и что ихъ троихъ одна баба вилами закинетъ¹⁾ ды-
шутъ кабацкимъ баухальствомъ и говорятъ о дѣйствительномъ
ничтожествѣ этого человѣка передъ историческимъ событиемъ. Въ
сценѣ убийства толпой Верещагина Растопчинъ беспомощно топ-
чется передъ толпой, безсильный сперва вызвать ее на преступ-
леніе, а затѣмъ остановить ее отъ уже начавшагося, помимо его
участія, убийства.

Толстой обрисовалъ цѣлую галлерею историческихъ лицъ, изъ
которыхъ мы выдѣлили Наполеона, Сперанскаго и Ростопчина—
трехъ представителей хищнаго, завоевательнаго героизма, само-
увѣренno вмѣшивающагося въ историческій процессъ, чтобы за-
ставить его двигаться въ желательномъ ему направлѣніи.

Толстой борется противъ этого дѣятельнаго героизма всей си-
лой своего глубокомыслія и художественнаго творчества. Въ На-
полеонѣ онъ видитъ крупнаго преступника, чуждаго человѣчности,
увѣреннаго въ силу силы, а въ сущности „предназначенаго Про-
видѣніемъ на печальнную, несвободную роль палача“; Сперанскій
рисуется Толстымъ какъ человѣкъ упорно, собственными силами
добившійся руководительства, увѣренный „въ силу и законность
ума“, но безполезный для народа; въ Растопчинѣ, наконецъ, онъ
видитъ инициативную бездарность, полное, но крикливое ничто-
жество.

Теоретическій выводъ о роли личности въ исторіи художе-
ственno дополненъ и этически отвергнутъ. Вмѣшательство въ
историческій процессъ порождаетъ преступность, безполезность
или ничтожество.

III.

Каковъ же положительный идеалъ историческаго вмѣшатель-
ства, насколько оно вообще допустимо?

Для рѣшенія этого вопроса Толстой обратился къ народу, къ
исторіи въ ѿхъ, о которой онъ уже говорилъ въ своей теоріи
исторії.

Выше мы указывали на то, что Левъ Толстой въ своей эпо-
пѣ останавливается главнымъ образомъ на прагматической сто-
ронѣ эпохи. Это положеніе вѣрно постольку, поскольку теорети-
ко-исторические взгляды яснополянского мыслителя основываются
именно на этой сторонѣ, обходя какъ бы органическое теченіе
исторії. Но нельзя сказать, что въ „Войнѣ и Мирѣ“ отразилась
только одна военная, прагматическая исторія, тутъ отразилась
эпоха и съ другой стороны, а именно, со стороны психологіи

¹⁾ Ibid. T. III стр. 217.

свѣтского общества и народа временъ крѣпостного права. Самъ Толстой по этому поводу говорить въ послѣдовании къ своему произведенію: „Характеръ времени, какъ мы выражали нѣкоторые читатели... недостаточно опредѣленъ въ моемъ сочиненіи“; ¹⁾ подъ характеромъ времени, читатели понимали ужасы крѣпостного права и требовали отъ автора изображенія этихъ ужасовъ. На это Толстой возражаетъ: „Есть характеръ времени, какъ и характеръ каждой эпохи, вытекающей изъ большей отчужденности вышаго круга отъ другихъ сословій изъ царствовавшей философіи, изъ особенностей воспитанія... И этотъ характеръ я старался, сколько умѣль, выразить“²⁾.

Подобно тому, какъ, по словамъ Маркса, „въ древнемъ Римѣ классовая борьба разыгрывалась внутри привилегированнаго меньшинства“, а „огромная масса производителей—рабовъ служила только пьедесталомъ этой борьбы“, такъ и въ „Войнѣ и Мирѣ“: борьба страстей, вся сложная утонченная жизнь мученій совѣсти, исканій правды разыгрывается только въ верхахъ, крѣпостной же народъ служить пьедесталомъ, или пушечнымъ мясомъ,—chair à canon, какъ выражаются аристократы „Войны и Мира“—для благородныхъ страстей и безкорыстнаго патріотизма. Толща пьедестала плохо передаетъ страданія народныхъ низовъ, которая и не отражается на верхахъ: „Въ Петербургѣ въ это время (нашествіе Наполеона М. Л.) въ высшихъ кругахъ... жизнь шла по-старому; изъ-за хода этой жизни надо было дѣлать большія усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положеніе, въ которомъ находился русский народъ“³⁾. Почти то же и въ Москвѣ среди рядового дворянства: „давно такъ не веселились въ Москвѣ, какъ этотъ годъ“³⁾.

Но каковъ толькъ пьедесталь, ка которому возвышается утонченная жизнь верховъ; что собой представляетъ народъ? На войнѣ мы съ нимъ уже встрѣчались какъ со стихійной, „роевой“ силой, что же онъ такое въ мирное время? Выступаетъ ли въ немъ то же разнообразіе и богатство характеровъ, которымъ отличается свѣтской кругъ?

Нѣтъ. Отдельныя лица изъ народа утопаютъ въ морѣ народной массы, ихъ индивидуальныя черты отступаютъ на задній планъ и сливаются въ одно коллективное лицо, выраженіе котораго очень трудно разобрать: „Всѣ глаза смотрѣли на нее (на княжну Марью М. Л.) съ одинаковымъ выражениемъ, значеніе котораго она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодар-

¹⁾ „В. и М.“ Т. IV стр. 424.

²⁾ „В. и М.“ Т. IV стр. 5.

³⁾ Ibid. Т. III стр. 216.

ность или испугъ и недовѣріе, но выраженіе на всѣхъ лицахъ было одинаковое“¹⁾). Та же таинственная почти тужественность бросается въ глаза офицеру Ильину: „и одинакіе какіе...“²⁾), невольно произносить онъ при видѣ столпившихся вокругъ него мужиковъ. Эта коллективная нетронутость какъ-то особенно отмѣчается въ окрестностяхъ Богучарова, „гдѣ помѣщиковъ было очень мало. Духовная жизнь народа проявляется въ особыхъ формахъ, выступленія его, какъ и весь духовный обликъ, безличны и безначальны. Тутъ нѣтъ отдѣльныхъ героевъ, увлекающихъ за собой массы: „между ними (богучаровскими крестьянами М. Л.) всегда ходили какіе-нибудь неясные толки... о царскихъ листахъ какихъ-то... о теплыхъ рѣкахъ“. „Сотни крестьянъ... стали вдругъ распродавать свой скотъ и уѣзжать семействами куда-то на юго-востокъ..., гдѣ никто изъ нихъ не былъ; ...поднимались караванами... шли туда, на теплые рѣки“³⁾). И въ концѣ концовъ „движеніе затихло само собой такъ же, какъ оно и началось, безъ очевидной причины“⁴⁾). Таинственный струи то пропиваются на поверхность народной жизни, то уходятъ вглубь, исчезаютъ. Безпомощность, безъинициативность проникаетъ вся кое движеніе народа; взбунтовавшаяся было деревня немедленно успокаивается, какъ только почувствовала привычный господской окрикъ хотя бы чужого барина. Покорность судьбы сочетается съ мистическими порывами и надеждами, стремленіе впередъ съ инерціей неподвижности.

Наиболѣе яркимъ представителемъ этого народа является Платонъ Каратаевъ. Это художественный образъ, въ которомъ наиболѣе ярко и наиболѣе чисто отразился русскій крестьянскій бытъ, еще нетронутый сторонними вліяніями, пожалуй, нѣсколько идеализированный Толстымъ.

„Платонъ Каратаевъ остался навсегда въ душѣ Пьера самыи сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, доброго и круглаго“⁵⁾). Внѣшность Каратаева—полное отраженіе внутренняго міра: „голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которыя онъ носилъ, какъ бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; пріятная улыбка и большие карие, нѣжные глаза были круглые“⁶⁾.

Слово „круглый“—эпитетъ, который великій художникъ

¹⁾ Ibid. T. III стр. 180.

²⁾ Ibid. T. III стр. 195.

³⁾ „В. и М.“ T. III стр. 177.

⁴⁾ Ibid. T. III стр. 178.

⁵⁾ Ibid. T. IV, стр. 61.

⁶⁾ Ibid тамъ же.

Толстой такъ настойчиво повторяетъ, не боясь этимъ нарушить целъность образа Карапаева, кажется намъ далеко не случайнымъ.

Круглый шаръ, въ которомъ нѣтъ ни выступовъ, ни зазубринъ, гдѣ все замкнуто въ самомъ себѣ, гдѣ нѣтъ ни начала, ни конца—это простѣйшая гармонія, особенно близкая народамъ въ періодѣ младенчества. Поэтому-то древне-греческие астрономы, желая выразить, воплотить во внѣшнемъ образѣ, простую и величавую гармонію вселенной, представляли ее себѣ въ видѣ системы крѣзглыхъ прозрачныхъ шаровъ. Это же представление о гармоніи, какъ обѣ окружности, думается намъ жило и въ Демокритѣ, когда онъ говорилъ обѣ атомахъ души, какъ о крѣзглыхъ, гладкихъ, маленькихъ тѣлахъ.

Надо только немножко всмотрѣться въ круглого Карапаева, чтобы увидѣть, что онъ весь живетъ этимъ стремленіемъ къ гармоніи: „въ его, Карапаева, рѣчи событія самыя простыя, иногда тѣ самыя которыя, не замчая ихъ, видѣлъ Пьеръ, получали характеръ торжественного благообразія“. Какъ шаръ не можетъ быть перевернутъ, такъ и Карапаевъ ни при какихъ условіяхъ не могъ быть поставленъ вверхъ ногами, на службѣ, и въ плѣну у французовъ, онъ оставался вѣренъ своему русскому, народному, первобытно-цѣльному складу: „Во всемъ онъ одинаково искалъ благообразія и поэтому ко всему одинаково любовно относился: „онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ“¹⁾ Онъ такъ же коллектиvenъ, какъ и быть, создавшій его: „жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдельная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ“²⁾.

Все, что индивидуально въ человѣкѣ—мысль, умъ, привязанности, склонности—Карапаеву было чуждо. Онъ мыслилъ умомъ народа, за него думали его далекіе предки, и если иногда „онъ говорилъ совершенно противоположное тому, что „онъ говорилъ прежде“, то „и то, и другое было справедливо“, потому что не въ немъ жило это противорѣчіе, а въ томъ цѣломъ, къ которому онъ принадлежалъ. Вся рѣчь его была усъяна поговорками, которыя онъ только „кстати“ примѣнялъ,—Карапаевъ даже въ своихъ языкахъ и мысляхъ только „частица цѣлаго“. „Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Карапаевъ не имѣлъ никакихъ“, и любовь ко всемъ и всему заступало ихъ

¹⁾ „В. и М.“ т. IV стр. 63.

²⁾ Ibid т. IV стр. 64.

мѣсто. Склонностей специальныхъ у него тоже не было, особенно хорошо онъ тоже ничего не дѣлалъ: „онъ все умѣлъ дѣлать не очень хорошо, но и не дурно. Онъ пекъ, варилъ, шилъ, строгалъ, точаль сапоги“¹⁾.

Если въ серединности видѣть добродѣтель, и въ такой универсальности способностей прогрессъ, то Каратаевъ могъ бы быть тѣмъ идеаломъ, къ которому должно стремиться современное человѣчество, влавшее въ крайности и заѣденное специализмомъ.

Но такъ ли ужъ достоинъ подражанія Каратаевъ? Нѣтъ ли въ его мышленіи какой-нибудь одной особенно ясной тенденціи, во имя которой мы должны отказаться отъ русскаго благообразія Каратаева? Стоить только прислушаться къ его разсказамъ и афоризмамъ, чтобы ее легко найти. Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ, который такъ живо и непосредственно могъ передать только Толстой, Каратаевъ разсказываетъ о томъ, какъ какой то старикъ-купецъ былъ по ошибкѣ обвиненъ въ убийствѣ и сосланъ въ Сибирь, гдѣ онъ послѣ долгаго времени встрѣчается съ дѣйствительнымъ убийцей, который, видя страданія старика, рѣшился „объявиться по начальству“. Пусть дальше разсказываетъ Каратаевъ: „пока что пришелъ царскій указъ: выпустить купца, дать ему награжденія, сколько тамъ присудили.—Пришла бумага, стали старишка разыскивать: „Гдѣ такой старичекъ безвинно, напрасно страдаль? Отъ царя бумага вышла!“ Стали искать. (Нижняя челюсть Каратаева дрогнула). А его ужъ Богъ простилъ—померъ. Такъ то соколикъ“²⁾.

Развѣ можно было проще и ярче выразить всю тщету и суetu людской жизни? Люди осуждаются, наказываются, не зная гдѣ правда, потомъ рѣшаютъ простить, но за нихъ это дѣлаетъ Богъ. Что-то, очевидно происходитъ въ мірѣ помимо желанія людей, которые оказываются смѣшными и безсильными: „Рокъ, головы ищетъ—говорить каратаевская мудрость—а мы все судимъ: то не хорошо, то не ладно“. Жизнь, очевидно, идетъ „не нашимъ умомъ, а Божиимъ судомъ“.

Это постороннее нѣчто, властно вмѣшивающеся въ жизнь людей, болѣе важно, чѣмъ вся ихъ суeta и болѣе утѣшительно, чѣмъ земная милости. „Взоръ иноческій“ видитъ въ нашемъ Каратаевѣ что-то опасное и усипляющее: „Не правда ли,—говорить французскій критикъ Богюэ,—вы узнаете здѣсь ходъ мысли и вѣковое помѣшательство восточнаго аскетизма, культь юги, непод-

1) „В. и М.“ т. IV стр. 62.

2) „В. и М.“ т. IV стр. 194.

вижно созерцающего свой пупокъ? Мы не далеко отъ него съ добрымъ Каратаевымъ...¹⁾.

Эта то философія Каратаева, философія дѣйствія „не нашимъ умомъ“ и отриданія всего индивидуально-активнаго во имя требованій Рока, заклейменная Н. Шелгуновымъ, какъ „философія застоя“ и легла у Толстого въ основу созданія положительнаго идеала историческаго дѣланія—или точнѣе, невмѣшательства.

И вотъ такими историческими дѣятелями, построившими всю свою дѣятельность не на пессиѣ увѣренности въ силу человѣческаго ума, а на твердой скалѣ покорности Прорицанію, и являются Кутузовъ, отчасти Тушинъ и Дохтуровъ.

Кутузовъ являеть собою примѣръ „смиренаго“, типайшаго героизма, воинами-богатырями котораго выступаютъ „терпѣніе и время“.

Трудно себѣ представить историческое лицо,—говорить Толстой про Кутузова:—дѣятельность котораго такъ неизмѣнно по-сторонно была бы направлена къ одной и той же цѣли. Трудно вообразить себѣ цѣль болѣе достойную и болѣе совпадающую съ волею всего народа“²⁾. Кутузовъ полководецъ, только „одинъ понимавшій тогда весь громадный смыслъ событія, среди безтолковой толпы, окружавшей его“³⁾. Что же выдѣлило Кутузова изъ „толпы“ и дало ему геніальную способность понять неисповѣдимые пути Прорицанія? „Источникъ этой необычайной силы прозрѣнія въ смыслѣ совершающихся явлений,—отвѣчаетъ Толстой:—лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его“⁴⁾.

Въ чемъ выражается это народное чувство у полководца Кутузова? Это лучше всего выясняетъ характеристика Барклайя, прямой противоположности Кутузова: „Онъ не могъ понять того,—говорить про Барклайя князь Андрей,— что мы въ первый разъ дрались тамъ (въ Смоленскѣ. М. Л.) за русскую землю, что въ войскахъ былъ такой духъ, какого я никогда не видалъ... Онъ не годится теперь именно потому, что онъ все обдумываетъ очень основательно и аккуратно, какъ и слѣдуетъ всякому нѣмцу... Пока Россія была здорова, ей могъ служить чужой... но какъ только она въ опасности, нуженъ свой, родной человѣкъ“⁵⁾.

¹⁾ См. Н. Страховъ „Критическ. статьи о Тургеневѣ и Толстомъ“. стр. 470—71.

²⁾ „В. и М.“ Т. IV, стр. 227. Курсивъ мой.

³⁾ Ibid. Т. IV, стр. 228.

⁴⁾ Ibid. Т. IV, стр. 230. Курсивъ мой.

⁵⁾ „В. и М.“ Т. III, 254.

Кутузовъ — полководецъ, который меньше всего считался съ правилами веденія войны и, вообще, съ военной наукой. Онъ, какъ и его духовный собратъ Каракаевъ, „презиралъ и знаніе, и умъ и зналъ что-то другое, что должно было решить дѣло, — что-то другое, независимое отъ ума и знанія“¹⁾). Поэтому ему ничего не стоило „говорить слова совершенно безсмысленные,—первыя, которыя ему приходили въ голову“²⁾), потому, что онъ дошелъ до того, что не мысли и умъ суть двигатели людей; по той же причинѣ онъ засыпалъ почти на всѣхъ военныхъ совѣтахъ.

Мало того, Кутузовъ тяготился своей ролью полководца, она ему не по силамъ; тонкій расчетъ, анализъ нѣсколькихъ возможностей сраженія или нападенія безсмысленны, ибо въ любой моментъ можетъ представиться тысяча другихъ комбинацій и случаевъ, которые предвидѣть все равно нельзя: „долголѣтнимъ опытомъ онъ зналъ и творческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертью, нельзя одному человѣку“³⁾), а старался уловить ту „неуловимую силу, называемую духомъ войска“, которую, по словамъ самого же Толстого, можетъ измѣнить одинъ крикъ обезумѣвшаго отъ страха солдата. Вѣрь въ расчетъ у него замѣняло убѣжденіе въ томъ, что французы будутъ когда-нибудь „лошадиное мясо жратъ“. Но если что-нибудь происходило помимо воли Кутузова, началось безъ него, то онъ только „благословлялъ совершившійся фактъ“⁴⁾). Здѣсь, конечно, пассивность Кутузова превращается въ апоѳеозъ Задняго Ума.

Если Толстой считаетъ моральную личность Кутузова далеко не идеальной, и характеризуетъ его скорѣе какъ человѣка отталкивающаго, сохранившаго „всѣ привычки страстей, но самыхъ страстей уже вовсе не имѣющаго“, то историческую роль Кутузова онъ возвышаетъ до небесъ, считая его человѣкомъ, вся жизнь которого была посвящена русскому народу, вся мысль которого была отраженіемъ народныхъ думъ и стремленій. И когда Кутузовъ понялъ, что война изъ народно-оборонительной должна превратиться въ европейско-завоевательную, онъ сказалъ открыто, не боясь немилости государя, что „далній-нейшая война за границей вредна и бесполезна“⁵⁾). „Кутузовъ, какъ и представляемый имъ народъ, „не понималъ

1) Ibid. T. III, 211. Курсивъ мой.

2) Ibid. T. IV, 228.

3) Ibid. T. III, 303.

4) Ibid. T. IV, 87.

5) „В. и М.“. T. IV, стр. 229. Курсивъ Толстого.

того, что значило: Европа, равновѣсіе, Наполеонъ. Представителю русского народа послѣ того, какъ врагъ былъ уничтоженъ... дѣлать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кромѣ смерти. И онъ умеръ“¹⁾.

Толстой нашелъ положительный идеалъ исторического дѣятеля въ народѣ, въ глубинѣ народной жизни. Каковъ этотъ типъ? Въ общемъ мы его охарактеризовали. „Въ русской жизни, — пишетъ Ап. Григорьевъ:—онъ (Толстой. М. Л.) видитъ только отрицательный типъ простого и смиренаго человека и привязался къ нему всею душою“²⁾.

Но эта пассивность характеризуетъ у Толстого не только отдельныхъ членовъ народа, она является какъ бы принципомъ всѣхъ совершающихся въ русской исторіи событий. Шенграбенское сраженіе въ австрійской кампаніи выиграно какъ оборонительное, Бородинское — тоже, хотя потери русскихъ и были громадны: русский лагерь, „потерявъ половину войска, стоялъ такъ же грозно въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія“. Еще замѣчательнѣе то, что, по мнѣнию Толстого, Москву никто не зажегъ; поджигателей-ициаторовъ не было, „она сама загласъ оттого просто, что перестала быть прежней Москвой, живымъ ульемъ“. А съ другой стороны, всѣ сраженія русскихъ, предпринятые противъ французовъ со времени ихъ отступленія, — начиная съ Тарутина и кончая Краснымъ и Березиной, — всѣ были неудачны, даже болѣе того: „отступленіе французовъ изъ Москвы есть рядъ побѣдъ Наполеона“³⁾. Въ наступательной роли русскій героизмъ терпитъ пораженія.

„Не замай, дай подойти“ — дивное название для картины партизанской войны⁴⁾ и вмѣстѣ съ тѣмъ принципъ русскаго героизма, пассивного, смиренаго. Русскій народъ по Толстому претерпѣваетъ многое, совершающеся на его глазахъ, но онъ ждетъ, покуда врагъ не только подойдетъ, но и начнетъ бить, чтобы потомъ „навалиться всѣмъ на родомъ“⁵⁾. И вотъ, эта „русская“ черта оказывается въ „неофиціальной части рѣчи Кутузова: онъ уже готовъ пожалѣть этихъ ободранныхъ нищихъ, жалкихъ „міродѣровъ“ (какъ прекрасно иногда варьируется въ устахъ народа иностранное слово!), но сознаніе того, что на него напали, убиваетъ минутную вспышку состраданія— „а и то сказать, кто же ихъ къ намъ звалъ? — Подѣломъ...“

¹⁾ Ibid. T. IV, стр. 251.

²⁾ См. И. Страховъ „Критическ. статьи etc.“, стр. 324.

³⁾ „В. и М.“, Т. IV, стр. 207.

⁴⁾ Название одной изъ картинъ Верещагина серіи войны 12-го года

⁵⁾ Т. III, стр. 237. курсивъ Толстого.

Пассивность, какъ и всегда почти, сочетается у представителей русскаго народа съ вѣрой во что-то болѣе важное, чѣмъ активный человѣческій умъ. И здѣсь уже самъ Толстой присоединяется къ Карапаеву и Кутузову, когда говоритъ: „у русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣритъ, чтобы можно было знать что-нибудь. Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ, тверже всѣхъ и противище всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину-науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина“¹⁾.

Вотъ какова художественно-этическая сторона эпопеи „Война и Миръ“.

Въ ней теоретическое положеніе о ничтожности и связанности роли великой личности самыми неразрывными узами, самыми тонкими, неуловимыми интимными нитями соединяется съ вѣрой въ Провидѣніе, съ убѣжденностью въ силу пассивности, съ уверенностью въ безполезности права, въ ничтожество науки съ отрицаніемъ общественной дѣятельности, съ издѣвательствомъ надъ „bien publique“ и надъ всякими великими лозунгами активнаго человѣчества.

Вотъ эти-то возврѣнія, которыя могли казаться столь опасными наканунъ безвременя 80-хъ годовъ и продиктовали Шелгунову его анаѳему „Войнъ и Миру“. „Если бы къ слабой опытной мудрости гр. Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на землѣ не нашлось бы такого сильного проклятія, которое слѣдовало бы на него обрушить“²⁾.

Шелгуновъ утѣшался тѣмъ, что „еще счастье, что гр. Толстой не обладаетъ лучшимъ талантомъ, что онъ живописецъ военныхъ пейзажей и солдатскихъ спенъ“²⁾. Для насть нѣть такого утѣшенія, но не потому, что Толстой для насть больше, чѣмъ „военный пейзажистъ“: — намъ нечего бояться, что его „отсталые“ взгляды могли бы быть использованы консерваторами или даже мракобѣсами, и тѣ и другіе давно уже привыкли дѣйствовать независимо отъ литературныхъ авторитетовъ. Для насть взгляды „Войны и Мира“ громадный фактъ для творчества Толстого, свидѣтельствующій о томъ, что уже на исходѣ шестидесятыхъ годовъ Толстой переживалъ какъ бы состояніе мистическаго нигилизма. А это міросозерцаніе, выросшее на почвѣ психолгії старого барина, оставшагося чуждымъ движенію 60-хъ годовъ, должно было у такого генія, какъ Толстой, выро-

¹⁾ „В. и М.“ Т. III, стр. 60. Курсивъ мой.

²⁾ Н. Шелгуновъ. Собр. соч. Т. II, стр. 400. О. Н. Поповой.

сти въ нечто большее и болѣе одухотворенное, чѣмъ русскій консерватизмъ¹⁾.

Всѣмъ предыдущимъ изложеніемъ мы, кажется, достаточно уяснили, что въ „Войнѣ и Мирѣ“ были заложены всѣ начала, вызвавшія впослѣдствіи то черное *taedium vitae*, которое одно время совсѣмъ грозило поглотить Толстого и которое потомъ напло свой выходъ въ „Исповѣди“ и въ послѣдовавшей за ней дѣятельности яснополянского мыслителя.

* * *

Передъ нами прошла величавая эпопея освободительной войны, отразившаяся въ головѣ и кисти мыслителя-художника. Не мертвые цифры и экономическое изслѣдованіе, не анекдотическое бытописаніе и не „патріотическій“ громъ побѣды,—все это отвергнуто Толстымъ:—великая историческая эпопея представлена передъ нами, какъ психологическое переживаніе. Для Толстого всѣ проявленія исторіи — это прежде всего проявленія души, а потомъ уже тотъ или иной поступокъ, то или иное массовое движение, историческое событие. „Стану ли я отъ этого счастливѣе, лучше?“—вотъ тотъ вопросъ, который Толстой въ качествѣ судьи и едлагаетъ историческому процессу и его участникамъ. И если къ историкамъ врядъ ли, то къ Толстому навѣрно могутъ быть отнесены слова Зиммеля: „Даже явленія материальныя, какъ построеніе храма св. Петра, или прорытіе сен-готтардскаго туннеля, интересуютъ историка исключительно какъ воплощеніе психическихъ, душевныхъ событий, какъ точки пересѣченія волевыхъ, интеллектуальныхъ и чувственныхъ рядовъ“²⁾.

И въ этомъ мощь и своеобразіе Толстого.

Но это наложило свою печать и на дальнѣйшее творчество великаго писателя. „Великая личность“ провалилась на судѣ духа, она сдѣлалась маленькой, „слишкомъ-человѣкомъ“. Для Толстого-художника со времени написанія „Войны и Мира“ больше непонятны тѣ историческія эпохи, въ которыхъ отдѣльнымъ лицамъ приходилось играть особо важную роль, онъ почти религіозно ненавидитъ такія эпохи, какъ проявленія безмѣрной гордыни человѣческой. И съ этой точки зрѣнія намъ становится ясна причина, по которой Толстому пришлось бросить начатый имъ романъ изъ эпохи Петра Великаго. „Лѣтомъ 1873 года,—рассказываетъ Берсъ:—Левъ Николаевичъ прекратилъ изученіе этой

1) Разрывъ Толстого съ Катковымъ, ред. „Русск. Вѣсти“, именно на почвѣ „Войны и Мира“, могъ бы служить вѣшнимъ доказательствомъ этого.

2) Georg Simmel „Die Probleme der Geschichtsphilosophie, S. 4.

эпохи. Онъ говорилъ, что мнѣніе его о личности Петра діаметрально противоположно общему, и вся эта эпоха сдѣлалась ему несимпатична. Онъ утверждалъ, что личность и дѣятельность Петра I не только не заключаетъ въ себѣ ничего великаго, а напротивъ того, всѣ качества его были дурныя¹⁾. Его художественное творчество было безсильно оживить и передать то, что онъ философски не признавалъ; поэтому Л. Н. Толстой писалъ: „Никакъ не могу живо возстановить въ своемъ воображеніи эту эпоху... и это тормозитъ мою работу“²⁾. Только Пушкинъ могъ воспѣвать того „мощнаго властелина судьбы“, который

уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы.

Для Толстого самонадѣянный, сильный Петръ представляетъ отвратительное зрѣлище „немецкой“ самоувѣренности. Человѣкъ, всѣмъ существомъ своимъ отрицавшій покорность исторіи, суетливо вмѣшивавшійся въ фаталистическое коловорщеніе человѣческихъ судебъ, какая недостойная и непристойная работа пигмея!

И дальнѣйшее творчество Толстого — какъ художественное, такъ и философское — уходить изъ шумнаго порожистаго русла міровой исторіи и уходить окончательно въ личныхъ переживанія Ивана Ильича, кн. Нехлюдова и др. Толстой весь отдался обличающей почти индивидуальной психологіи. Потокъ его творчества не мѣлѣтъ, а разбивается на мелкіе хрустальные ручейки, которые просачиваются въ самую подпочву общественной жизни, чтобы оттуда выбиться фонтанами живой и животворящей воды.

И что же! Личность, какъ историческая единица исчезла, но она воскресла, воспрянула какъ нравственная сила. „Подчиняйтесь Року“ — говоритъ Толстой до „Исповѣди“. — „Одумайтесь!“ — восклицаетъ онъ послѣ нея: „Стоить всѣмъ захотѣть“, — и воцарится на землѣ добро и справедливость. Съ вѣнчней стороны этой, пожалуй и противорѣчіе: „между Толстымъ-художникомъ и Толстымъ-моралистомъ и проповѣдникомъ существуетъ неизримое противорѣчіе“, говорять многіе. „Толстой-художникъ отрицаетъ роль личности въ исторіи, ея силу. Толстой-моралистъ строитъ свою проповѣдь на признаніи этой роли и силы. Для Толстого-художника человѣкъ, прежде всего жертва, для Толстого-моралиста человѣкъ герой“³⁾. Противорѣчіе это для тѣхъ, кто въ исторіи и съ помощью ея хочетъ осуществить свои

¹⁾ Н. Бирюковъ. „Левъ Николаевичъ Толстой“. Біографія. Т. II, стр. 203. Изд. „Посредникъ“.

²⁾ Соловьевъ (Андреевичъ). „Очерки изъ исторіи русской литературы“, стр. 473.

идеалы справедливости и добра, для тѣхъ призыва къ подчиненію Року есть призывъ къ преступному недѣланію, квѣтизму, который никакъ не мирится съ кликомъ „одумайтесь!“ Но вѣдь Толстой говоря уже въ „Войнѣ и Мирѣ“ о „настоящей жизни“, далекой отъ исторического пути, и о томъ, что „каждая личность“ носить въ самой себѣ свои цѣли“¹⁾, въ сущности уже тогда говорилъ: „царство Божіе внутри васъ, а остальное—т. е. справедливая общественная жизнь—приложится вамъ.

Одиночка-моралистъ можетъ прекрасно примирить штокмановское „одинокій—самый сильный человѣкъ“ съ толстовскимъ—„массовый человѣкъ—безпомощная игрушка“. Общественная дѣятельность, какъ мы видѣли, отрицается Толстымъ, соціальныхъ идеаловъ для него нѣть; человѣкъ, стремящійся къ справедливости, не долженъ пойти по пути исторіи, гдѣ всегда творилось противное человѣческой природѣ злу. „Отыдеши отъ зла,—состориши благо“; надо отказаться отъ исторического пути, представляющаго столько соблазна, поддерживающаго человѣка въ упорномъ противленіи историческимъ судьбамъ и пойти по стезѣ личного совершенствованія, тогда война уязвленной человѣческой гордыни противъ Рока смѣнится миромъ тихаго богоискательства.

1) „В. и М.“ Т. IV, стр. 304.